

ПРОСВЕЩЕННЫЙ НАСЛЕДНИК



ПАВЕЛ СМОЛИН

Павел Смолин

Просвещенный наследник

«Автор»

2026

Смолин П.

Просвещенный наследник / П. Смолин — «Автор», 2026

Василий Иванович Ключев двадцать лет сверял чужую отчётность и ни разу не рассчитывал закончить карьеру в теле десятилетнего наследника российского престола. Но факт есть факт: 1788 год, Петербург, тело — великий князь Александр Павлович, внук Екатерины Великой. Профдеформация — при нём. Привычка сверять приход с расходом — тоже. И очень скоро весь двор узнает, что бывает, когда государственный ревизор получает доступ к государству в буквальном смысле слова. Пока взрослые умиляются «любопытному мальчику», Александр методично выстраивает то, чего этой стране отчаянно не хватает: школы, честные ведомости, свободную прессу — и привычку спрашивать «а почему цифры не сходятся» у всякого, кто рассчитывал, что спрашивать точно никто не станет. Крови будет меньше, чем в учебнике истории. Разоблачений — больше.

© Смолин П., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Павел Смолин

Просвещенный наследник

Глава 1

Пуговицы застёгивали не в том порядке.

Не сверху вниз, как поступил бы всякий разумный человек, экономящий движения, а снизу вверх и вразнобой, будто у той, что этим занималась, был в запасе целый день и ни одной другой заботы на свете. Я ощутил это раньше, чем успел подумать хоть что-то связанное — короткую, совершенно неуместную вспышку раздражения. Такую испытываешь, когда третий год подряд получаешь от одного и того же отдела бумагу, заполненную не в той последовательности граф, хотя простейшая логика подсказывает начинать с итоговой строки, а не с середины.

Мысль была немедленно отброшена как не относящаяся к делу — и только тогда я заметил, что вообще-то понятия не имею, откуда взялась ни она сама, ни этот отдел, ни бумага.

Комната наводилась на резкость неохотно, слоями: сперва свет — жёлтый, дрожащий, слишком тёплый для дневного, потом резной край шкафа, потом чьи-то руки на моей груди, деловито продевающие последнюю пуговицу в петлю. Руки принадлежали женщине в белом чепце, немолодой, с широким спокойным лицом, которая что-то приговаривала себе под нос — не мне, себе, — и в голосе её не было ни капли удивления оттого, что я, судя по всему, только что открыл глаза посреди её работы.

— Ну наконец-то очнулись, батюшка Александр Павлович. Заспались нынче, как большой боярин, — сказала она, не поднимая взгляда от пуговиц.

Александр Павлович. Имя прозвучало и прошло сквозь меня, не зацепившись, — как объявление на вокзале, которое слушаешь вполуха, потому что ждёшь не свой поезд. Я хотел было спросить, кто это, и почему меня, кажется, только что назвали его именем, но вместо этого рот сам, без всякого моего участия, произнёс:

— Заспался, Марфа Кузьминична. Виноват.

Голос был не мой — вибрация, тон, самая механика звука, — тонкий, ломкий, мальчишеский, и произвёл фразу с той же безошибочной готовностью, с какой рука сама тянется пере-застегнуть пуговицу, если нижние застёгнуты криво. Я не выбирал эти слова. Я даже не успел их подумать. Тело ответило само — вежливо, привычно, чуть виновато, — и только после того, как звук отзвучал, до меня дошло, что я только что заговорил чужим ртом, чужим голосом, и назвал женщину по имени, которого, хоть убей, не помню, чтобы когда-либо слышал.

Это должно было испугать сильнее, чем испугало. Вместо паники пришло что-то вроде рассеянного, почти канцелярского недоумения — состояние человека, обнаружившего на своём столе чужую подпись под собственным отчётом: подделка настолько аккуратная, что первая реакция не «караул», а «стоп, а кто это вообще успел». Я не закричал. Я не отдёргнул руки. Я стоял — точнее, стояло тело, а я в нём присутствовал скорее как пассажир, чем как водитель, — и позволял Марфе Кузьминичне довести дело с пуговицами до конца, потому что прерывать её на середине казалось почему-то более странным поступком, чем просто подождать.

Пока она возилась с последней, верхней, самой тугой, я успел рассмотреть себя — вернее, ту часть себя, которая была доступна взгляду без зеркала: узкие плечи под кафтаном непривычного, слишком плотного сукна, рукава, из которых торчали не мои руки — маленькие, с детскими костяшками, розовые от недавнего мытья, — и грудь, на которой умещалось от силы полдыхания, тогда как мои лёгкие, я готов был поклясться, всегда требовали куда больше воз-

духа. Открытие пришло не одним ударом, а по частям, будто кто-то методично подкладывал на весы гирьки, одну за другой, и только к пятой или шестой я почувствовал, что чаша начинает клониться в тревожную сторону: руки не мои. Голос не мой. Комната не моя. И, кажется, тело тоже.

Сама комната, впрочем, вполне заслуживала того, чтобы её разглядеть внимательнее, будь у меня чуть больше душевных сил на разглядывание. Невысокие своды, выбеленные и расписанные скромным растительным узором по карнизу; сундук в углу, окованный потемневшим железом; на стене — потемневшая же икона в серебряном окладе, перед которой едва теплилась лампадка, и от этого крохотного огонька по всей комнате лежали мягкие, подрагивающие тени, куда более уютные, чем резкий свет, к которому, помнилось мне — хотя откуда именно помнилось, сказать я не взялся бы, — я привык. Пахло воском, крахмальным бельём и чем-то ещё, слабым и травяным, кажется, сушёной мятой из мешочка, заткнутого за раму окна от моли. Ничего пугающего в самой обстановке не было — напротив, она дышала избыточной, почти музейной основательностью, — и оттого ещё нелепее было чувствовать себя в ней настолько чужим.

— Прокофий Ильич уже заждался с гребнем, идите к зеркалу... то есть к окну садитесь, — поправилась Марфа Кузьминична, кивая на низкий табурет у высокого, в частый переплёт, окна, за которым синели уже вечерние сумерки. — Служба через полчаса, а у вас вихор на макушке — хоть коня объезжай.

Я послушно — точнее, тело послушно, а я всё ещё разбирался, кто здесь на самом деле отдаёт команды, — сел на табурет спиной к окну, так что вместо своего отражения в тёмном уже стекле мне досталась только смутная, безликая тень, которую я предпочёл не рассматривать пристальнее. Достаточно было и того, что тень оказалась значительно ниже, чем я привык видеть, отражаясь в чём бы то ни было.

Дверь скрипнула, впустив запах воска и ещё чего-то — кажется, крахмала, — и в комнату вошёл пожилой мужчина в тёмном кафтане, с гребнем в одной руке и щёткой в другой, двигавшийся с той особой неторопливой уверенностью, с какой двигаются люди, всю жизнь занимавшиеся одним и тем же делом и знающие о нём больше, чем полагается знать о причёсывании десятилетнего мальчика. Это, надо полагать, и был Прокофий Ильич.

— Ваше высочество сегодня как будто не в духе, — заметил он, принимаясь за мои волосы с той же деловитой аккуратностью, что и Марфа Кузьминична — за пуговицы. — Не заболели ли часом?

И снова — прежде чем я хоть что-то успел решить, — рот открылся сам:

— Нет, Прокофий Ильич, здоров. Задумался.

Задумался. Действительно, формулировка была не так уж далека от истины, только вот думал я вовсе не о том, о чём, видимо, полагалось думать десятилетнему великому князю накануне вечерней службы. Я думал о том, что за последние несколько минут произнёс подряд три фразы, ни одну из которых сознательно не составлял, — и все три оказались абсолютно уместны, вежливы и по существу. Тело словно бы держало собственный, отдельный от меня, архив готовых реакций и вынимало из него нужную карточку быстрее, чем я успевал сформулировать вопрос, на который эта карточка отвечала. Меня, признаться, это тревожило меньше, чем следовало бы, — возможно, потому что где-то на дне сознания вдруг всплыло смутное, профессиональное узнавание: система работает. Плохая ли, хорошая — вопрос отдельный, но она отлажена, реагирует без сбоев, и пока реагирует правильно, вмешиваться в неё вручную — только портить дело.

Пока Прокофий Ильич водил гребнем, укладывая непокорную прядь надо лбом, за приоткрытой дверью в соседнюю комнату послышались голоса — приглушённые, но достаточно ясные, чтобы разобрать смысл, если прислушаться, а прислушиваться, как выяснилось, тело умело и без особой команды с моей стороны.

— ...и я говорю: восковых на образа положено четыре, а не шесть, откуда шесть-то взялось, — говорил один голос, скрипучий, стариковский.

— Так ключница же велела, — отвечал второй, помоложе, с явной обидой в тоне. — Сказала, для вечерней службы полный убор ставить, раз государыня-то, может, заглянет.

— Может заглянет, а может и не заглянет, а свечи-то казённые, не наши с тобой, чтоб на "может" их жечь. Убери две, поставь как положено.

— Да я-то поставил бы, только эконо́м расписался уже за шесть, а если ты у меня две заберёшь, у меня в книге недостача выйдет...

Дальше голоса удалились, свернув, видимо, в другую часть коридора, и я так и не узнал, чем закончился спор о свечах — но успел, помимо воли, произвести в уме короткий, совершенно бессмысленный в данных обстоятельствах подсчёт: если восковая свеча для образов стоит примерно вот столько, а разница между четырьмя и шестью составляет две штуки, то за месяц таких вечерних служб набегает сумма, из-за которой ни один нормальный ревизор... Мысль оборвалась сама собой, не найдя, к чему прицепиться дальше, — ни цифр, ни точки отсчёта, ничего, кроме голого, ввевшегося куда-то глубже памяти рефлекса: там, где расходуется документ с фактом, нужно спросить «почему», и спросить сразу, пока след не остыл. Рефлекс сработал вхолостую, как заведённый мотор в машине, у которой сняли колёса, — и это было, пожалуй, первое, что действительно меня насторожило за всё утро. Не то, что я оказался в чужом теле в чужой комнате. То, что часть меня, услышав спор о четырёх свечах вместо шести, среагировала быстрее и увереннее, чем на собственное, куда более насущное недоумение по поводу этих самых рук, ног и голоса.

— Прокофий Ильич, — сказал я, и на этот раз фраза была уже почти моя, хотя голос по-прежнему оставался чужим, — а что, государыня правда может нынче заглянуть?

Дядька на секунду перестал водить щёткой и посмотрел на меня в отражении — не в моём, тень моя по-прежнему пряталась в тёмном стекле за спиной, а в маленьком настенном зеркальце у двери, куда падал его собственный взгляд по привычке, — с тем особым выражением, какое бывает у людей, десятилетиями служащих при дворе и давно решивших для себя, что удивляться перестали.

— Бабушка ваша, батюшка, когда хочет, тогда и заглядывает, о том никого не спрашивает, — ответил он ровно. — Так что извольте сидеть смирно, а то весь труд мой прахом пойдёт, не успеем причесать — сраму не оберёмся.

Слово «бабушка» осело во мне тяжелее, чем следовало ожидать от простого слова. Бабушка. Не абстрактная «государыня» из учебника истории, куда-то задвинутая между датами и портретами в тяжёлых рамах, а живой человек, который вот прямо сейчас, возможно, шёл по соседнему коридору и мог в любую минуту толкнуть эту самую дверь. Мысль была настолько несоразмерна всему, что я успел за последние четверть часа испытать, что я, кажется, впервые за всё это время по-настоящему попытался вспомнить хоть что-нибудь конкретное о том, что было вчера.

И не смог.

Не в том смысле, что вчерашний день был скучным, и потому забылся, как забывается любой обычный вторник спустя неделю. А в том смысле, что там, где полагалось быть вчера — целому, плотному, наполненному деталями дню, — оказалась ровная, аккуратная пустота, без единого зацепа, за который можно было бы потянуть. Я попробовал зайти с другой стороны: что было позавчера? Тот же результат. На прошлой неделе? Тишина, ещё более полная, потому что даже не за что было притвориться, будто просто плохо помню. Я знал — откуда-то знал, — что меня зовут иначе, чем Александр Павлович, что где-то существуют вещи вроде отчётов, вокзалов и деклараций, что у меня, вероятно, была своя, отдельная жизнь, наполненная другими комнатами, другими голосами, другими заботами. Но стоило попытаться нащупать хоть один цельный эпизод из этой жизни — вчерашний ужин, позавчерашний разговор, любое

утро, которое я мог бы с уверенностью назвать «моим», — рука в буквальном смысле хватала пустоту, как в комнате, где, ты точно помнишь, стоял стол, а его вдруг нет, и даже вмятин на ковре не осталось.

Я попробовал ещё раз, уже методичнее, — раз нахрапом не вышло, следовало действовать по порядку, с чего-нибудь самого простого и бесспорного. Как меня зовут на самом деле? Ответ не приходил — точнее, приходило что-то вроде эха, форма без содержания, ощущение, что имя есть, что оно короткое и привычное, но стоило потянуться за ним, как оно ускользало, точно слово, вертящееся на языке и никак не желающее вспоминаться в присутствии посторонних. Сколько мне лет — на самом деле, а не по виду этих вот детских рук? Тоже пусто. Есть ли у меня — там, откуда я, видимо, явился, — родители, жена, работа, привычка пить чай определённым образом? Ничего. Полки были на месте, аккуратные, подписанные, но с них будто украли все папки, оставив только корешки: где-то там, я не сомневался, лежала целая жизнь, но добраться до её содержимого не удавалось никаким усилием.

Вот тут стало по-настоящему страшно. Не так, как бывает страшно от неожиданности — вскрикнуть и отпрянуть, — а тем медленным, липким страхом, который приходит, когда понимаешь, что твоя собственная опора, та база, на которую ты бессознательно всегда опирался при любой мысли о себе, попросту отсутствует, и ты не падаешь только потому, что пока не заметил под ногами обрыва. Десять минут назад меня раздражал порядок пуговиц. Теперь я сидел на низком табурете в теле десятилетнего мальчика, чужим ртом благодарил чужого дядьку за причёску, и единственное, в чём я мог быть уверен твёрдо, — это что я не помню ничего, ровным счётом ничего, о том, как здесь оказался.

— Готово, — объявил Прокофий Ильич, отступая на шаг и оглядывая работу с тем же удовлетворением, с каким мастер смотрит на законченную деталь. — Вот теперь хоть куда, хоть к самой государыне.

Он произнёс это без всякого особого умысла, просто расхожей фразой, — но именно в эту секунду за дверью раздались быстрые, дробные шаги, слишком быстрые для степенного дворцового коридора, и в комнату, не постучавшись, ворвалась ещё одна женщина — судя по чепцу и связке ключей на поясе, та самая ключница, о которой недавно спорили из-за свечей. Лицо у неё было такого цвета, какой бывает у людей, только что избежавших на третий этаж с известием, которое лучше было бы донести на пять минут раньше.

— Батюшки светы, — выдохнула она с порога, не тратя времени на поклон. — Государыня матушка изволили только что через сад пройти, к малым покоям идут, самолично, без доклада заранее, сказали — соскучилась, дескать, по внукам, поглядеть желает! Марфа Кузьминична, где голубчик наш, готов ли...

Марфа Кузьминична, до этого молча складывавшая что-то в углу, охнула и всплеснула руками так, будто известие застало её врасплох сильнее, чем меня — открытие о собственной беспамятной пустоте. Прокофий Ильич отложил щётку с той же быстротой, с какой секунду назад демонстрировал невозмутимость, и торопливо принялся одёргивать на мне кафтан, стряхивая невидимые пылинки и поправляя воротник — движениями человека, которому только что напомнили, что срок сдачи наступил не завтра, а сейчас.

— Константин Павлович уже одет, в гостиной сидит, при гувернантке, — сообщила ключница, оборачиваясь к двери и явно намереваясь бежать дальше, разносить ту же весть по остальным комнатам дворца. — А этому-то нашему всё бы задумываться...

Она кивнула в мою сторону — не зло, скорее с тем беззлобным раздражением, с каким взрослые кивают на ребёнка, вечно опаздывающего к столу, — и исчезла за дверью так же стремительно, как появилась, оставив после себя только сквозняк и повисшее в комнате ощущение, что время, минуту назад казавшееся вполне достаточным для причёсывания и рассуждений о свечах, вдруг сжалось до нескольких десятков секунд.

— Ну, батюшка Александр Павлович, — сказал Прокофий Ильич, разворачивая меня за плечи лицом к двери с бесперемонностью человека, знающего, что имеет на это полное право, — вставайте, пойдёте. Бабушка ваша ждать не любит, а к тому же и знать не должна, что вы тут сидели, вихры на голове разглядывая, — надо, чтоб как обычно всё было. Чтоб как всегда.

Как всегда. Это было, пожалуй, самое сокрушительное из всего сказанного за последние полчаса, потому что «как всегда» подразумевало существование некоего накопленного, устойчивого способа быть Александром Павловичем — способа, которым я, судя по всему, обязан был владеть в совершенстве, но о котором не помнил ровным счётом ничего, кроме того, что тело, кажется, само знало, как отвечать на вопросы про здоровье, как благодарить за причёску и как называть по имени-отчеству людей, которых я видел — то есть которых видело это тело, — по всей видимости, каждый божий день последние десять лет.

Дверь была уже открыта. За ней тянулся длинный, освещённый неровным светом свечей коридор, в конце которого, судя по звукам — быстрым шагам, шёпоту, звяканью где-то посуды, — уже разворачивалась суматоха, обычная для дома, куда без предупреждения нагрянула хозяйка. Прокофий Ильич стоял у порога, придерживая створку и всем своим видом показывая, что задерживаться дальше — непозволительная роскошь.

Я сделал шаг вперёд — вернее, сделало шаг тело, а я, всё ещё не разобравшийся, кто здесь, собственно, распоряжается, последовал за этим шагом, как пассажир следует за поездом, который тронулся без предупреждения, — и понял, что сейчас, через несколько десятков шагов по этому коридору, мне предстоит сыграть роль человека, о котором я не знаю почти ничего, перед женщиной, которую весь дворец, судя по одному только произведённому её появлением эффекту, привык слушаться безоговорочно.

Коридор оказался длиннее, чем виделось из дверного проёма. По обеим сторонам горели свечи в настенных шандалах — уже, судя по всему, наспех досчитанные и расставленные тем самым спорным числом, — и от их огня по натёртому воском паркету бежали длинные жёлтые полосы, в которых мелькали чужие торопливые тени: кто-то пробежал навстречу с подносом, кто-то замирал у стены, вжимаясь в неё, чтобы пропустить нас, кто-то шёпотом спрашивал у кого-то третьего, точно ли государыня уже в саду или ещё только на подходе. Прокофий Ильич шёл на полшага впереди, чуть подталкивая меня плечом на поворотах, будто боялся, что я оступлюсь или, того хуже, сверну не туда, — и в этой его молчаливой, привычной заботе было что-то, отчего внутри, среди всей паники, шевельнулось совсем не по обстановке тёплое, почти благодарное чувство: по крайней мере, рядом был человек, который точно знал дорогу, даже если я сам не знал ничего.

Где-то впереди, за поворотом, уже слышался голос — женский, властный, с той характерной, ни с чем не спутываемой интонацией человека, привыкшего, что его слушают с первого слова, — и голос этот, судя по звуку, приближался быстрее, чем приближались к нему мы.

Времени на подготовку не было. Не было даже времени додумать эту мысль до конца.

Глава 2

Малые покои встретили меня светом куда более ярким, чем тот, к которому я успел привыкнуть за неполный час своего нового существования, — не десяток скромных свечей в шандалах, а добрая полусотня, не считая пары канделябров у самого окна, — и в этом суетливом, дрожащем сиянии посреди комнаты стояла женщина, которую я, кажется, узнал бы даже без подсказки Прокофия Ильича, дышавшего мне в затылок все последние двадцать шагов по коридору.

Она оказалась заметно меньше ростом, чем я почему-то ожидал от человека, чьё имя произносили в этом доме с той особой интонацией, с какой обычно говорят о погоде перед грозой, — невысокая, полная, в простом домашнем платье без всякой парадности, с живыми, быстрыми глазами, которые, казалось, успевали оценить комнату и всех, кто в ней находится, быстрее, чем произносилось первое слово приветствия. Она уже что-то говорила гувернантке, стоявшей чуть поодаль с младшим мальчиком за руку, — говорила легко, вполголоса, с той свободной уверенностью человека, для которого не существует помещений, куда нельзя войти без доклада, — и, увидев меня в дверях, прервалась на полуслове с таким искренним удовольствием на лице, что на секунду я забыл бояться.

— А вот и мой Александр, — сказала она, разворачиваясь ко мне всем корпусом. — Ну поди сюда, дай на тебя посмотреть, а то, говорят, вихры сегодня непослушные, весь дом на ушах.

Тело среагировало быстрее, чем я успел решить, как реагировать: шаг вперёд, ещё один, наклон — и вот тут вышла первая осечка. Рука, которая должна была принять протянутую ладонь на уровне, привычном для тела ростом метр восемьдесят с лишним, метнулась туда, где эта ладонь оказалась бы, будь я собой прежним, — то есть заметно выше, чем находилась ладонь на самом деле, — и я неловко, смешно промахнулся, чуть не боднув бабушку лбом в грудь, прежде чем сообразил пригнуться и коснуться губами руки как полагается. Екатерина хмыкнула — не раздражённо, скорее весело, — и потрепала меня по макушке той самой рукой, за которой я только что так неудачно охотился.

— Экий ты сегодня стремительный, — заметила она. — Только что не сбил бабку с ног. Не заболел ли?

— Задумался, ваше величество, — ответил я, и снова это была не моя фраза, а фраза тела, вытащенная из того же бездонного архива готовых ответов, — но на этот раз я успел мысленно поблагодарить архив за то, что он хотя бы последователен: сегодня, судя по всему, официальная версия происходящего со мной звучала именно так, и я решил её придерживаться.

— Задумался, — повторила она, и в её голосе прозвучало что-то, отдалённо похожее на настороженность, тут же спрятанную за улыбкой. Она чуть склонила голову набок и поглядела на меня внимательнее, чем требовала обычная приветственная фраза, — тем особым, цепким взглядом, которым, наверное, разглядывала не одно донесение и не одного просителя за долгие годы царствования. — А глаза-то у тебя нынче будто чужие, Александр. Не сон ли дурной приснился?

Вопрос был задан легко, почти шутя, но что-то в самой его точности — «глаза чужие» — пробрало меня холодом сильнее, чем любая формальная церемония этого вечера. Она не могла знать. Разумеется, не могла. И всё же на секунду мне показалось, что она видит меня насквозь, сквозь чужое лицо, сквозь чужой голос, прямо в ту самую панику, которую я весь вечер так старательно прятал.

— Сон, ваше величество, — ответил я, и голос, к моему облегчению, прозвучал ровно. — Не запомнил, право слово. Только проснулся будто не сразу.

— Бывает, — кивнула она, и что-то в её лице смягчилось, настороженность отступила так же быстро, как появилась. — В твои годы это всё скоро пройдёт, поверь бабушкиному слову. Ну да ладно. Смотри, задумчивость до добра до определённого возраста не доводит, а там, глядишь, и в философы подашь, как некоторые. Ну да ладно. Костя, поди сюда, поздоровайся с братом, а то он тебя, кажется, вовсе не заметил.

Только теперь я обратил внимание на второго ребёнка — мальчика помладше, крепкого, румяного, с тем выражением лица, какое бывает у детей, которых оторвали от чего-то гораздо более интересного ради церемонии, смысла которой они пока не улавливают. Константин — потому что кем ещё он мог быть — вырвался из руки гувернантки и подбежал ко мне с разбегу, налетев если не всем весом, то значительной его частью, явно рассчитывая на объятие в ответ такой же силы, к какому, видимо, привык.

Я не рассчитал. Тело, которое всего минуту назад промахнулось мимо бабушкиной руки в одну сторону, на этот раз промахнулось в другую: я слишком твёрдо, слишком по-взрослому уперся ногами, ожидая удара, соразмерного тому, какой мог бы нанести взрослый человек с разбега, — и когда вместо этого получил вполне детский, хотя и азартный, толчок восьмилетнего мальчика, покачнулся не вперёд, а назад, чудом устояв на ногах и не опрокинув при этом канделябр, стоявший в опасной близости. Константин, не заметив ничего странного в этой почти цирковой попытке удержать равновесие, тут же вцепился мне в рукав и спросил, будет ли сегодня после службы играть с ним в шашки, потому что вчера он проиграл нарочно, чтобы не расстраивать, а сегодня хочет отыграться по-настоящему.

Вчера. Слово кольнуло — не так остро, как давешняя пустота на месте собственной памяти, но достаточно, чтобы я на секунду замешкался с ответом. У этого мальчика, стоящего передо мной и требующего реванша в шашках, было вчера. Плотное, наполненное, с проигрышами и обидами. У меня — только ровная пустота там, где полагалось быть тому же самому дню.

— Посмотрим, — сказал я вслух, и, кажется, попал в тон достаточно точно, потому что Константин удовлетворённо кивнул и тут же отвлёкся на что-то на столе.

— Ну, будет вам, — вмешалась Екатерина, оглядывая обоих с тем выражением, какое бывает у людей, давно привыкших держать в поле зрения сразу несколько вещей одновременно. — Служба через десять минут, а вы оба ещё не построены. Прасковья Матвеевна, ведите молодых людей, я следом, только распоряжусь о свечах — мне доложили, будто нынче их без счёта жгут, а казна не резиновая.

Она произнесла это мимоходом, без всякого нажима, — просто одна из десятка мелких хозяйственных фраз, какими, видимо, была соткана изнанка её дня, — но я, помимо воли, отметил её с той же внутренней готовностью, с какой вчера, то есть, если быть точным, час назад, отметил спор о свечах за дверью: значит, весть о шести вместо четырёх дошла и до неё. Мысль тут же увяла сама собой, не найдя, куда развиваться дальше, — потому что гувернантка, женщина средних лет с усталым, но не недобрым лицом, уже разворачивала нас обоих к двери, и медлить не приходилось.

Коридор, ведущий к домовой церкви, оказался длиннее, чем можно было предположить по размерам самого здания, — или, может быть, дело было в том, что шаг у тела, которым я теперь распоряжался, оказался заметно короче, чем требовалось, чтобы поспевать за уверенной поступью гувернантки. Я то и дело сбивался, то замедляясь и почти натываясь на Константина, идущего впереди, то, наоборот, ускоряясь настолько, что задевал плечом дверные косяки, рассчитанные явно не на мой нынешний рост, — маленькая, но обидная неувязка между ожидаемой и действительной высотой собственной макушки, из-за которой я за эти десять минут пути стукнулся о притолоку дважды, оба раза с одинаково глупым, детским восклицанием, за которое тут же становилось неловко.

По пути навстречу попадались люди — какой-то чиновник в форменном кафтане, поспешно прижавшийся к стене и склонивший голову, две девушки с корзиной свежееглаженного белья, замершие в поклоне ровно на то время, пока мы проходили мимо, лакей с подносом, балансирующий у самого угла с ловкостью человека, для которого это давно стало таким же привычным делом, как дышать. Каждый из них смотрел на меня — то есть на тело, в котором я находился, — с тем особым, чуть подобострастным вниманием, каким обычно смотрят не на человека, а на должность, и я впервые за этот бесконечно длинный вечер настоящему ощутил вес того, чем это тело, оказывается, уже являлось для десятков людей задолго до моего появления в нём.

Домовая церковь встретила густым, тёплым сумраком, разбавленным дрожащим светом множества свечей — я невольно скользнул по ним взглядом, безуспешно пытаюсь сосчитать, сколько именно горит перед образами, но освещение было слишком неровным, а мысль слишком мелкой, чтобы удерживать её дольше секунды, — и запахом ладана, густым, сладковатым, ни на что прежде не похожим, хотя что-то во мне узнавало его безошибочно, как узнают вкус, которого не пробовали много лет, но не забыли ни на день. Служба тянулась долго — куда дольше, чем позволяло терпение десятилетнего тела, вынужденного стоять неподвижно на протяжении часа с лишним, — и где-то на середине я поймал себя на том, что впервые за вечер не паникую и не притворяюсь, а просто существую: слушаю нестройное, тягучее пение хора, чувствую, как ноют непривычные к долгому стоянию колени, разглядываю позолоту оклада перед собой и медленно, по капле, пытаюсь свыкнуться с мыслью, что весь этот вечер, при всей его немыслимости, кажется, никуда не денется сам собой, стоит только зажмуриться покрепче.

Где-то за спиной, среди немногочисленных придворных, допущенных на семейную службу, я расслышал сдержанный шёпот — кто-то делился с соседом впечатлением от внезапного появления государыни, кто-то, судя по интонации, просто пересказывал последние сплетни, не слишком заботясь о приличиях места. Голоса сливались с потрескиванием свечей и негромким скрипом половиц под чьими-то переступающими ногами в единый, убаюкивающий гул, в котором мысли, как ни странно, думались легче, чем в полной тишине.

Константин рядом со мной ёрзал, тяжело вздыхал и один раз тихо, одними губами, пожаловался, что ноги затекли, — и эта совершенно земная, детская жалоба почему-то согрела больше, чем всё торжественное убранство церкви вместе взятое.

После службы, пока нас вели через анфиладу комнат к малой столовой, где, судя по доносившимся запахам, уже накрывали к ужину, я снова услышал знакомую по вечеру интонацию — двое взрослых разговаривали негромко, но не настолько тихо, чтобы уши, которые, как выяснилось, слышали значительно лучше моих прежних, не разобрали каждое слово.

— ...шесть возов дров записано за прошлую неделю, Николай Иванович, а на дровяном дворе от силы на четыре встало, я сам мерил, — говорил один голос, принадлежавший, судя по всему, эконому или кому-то из хозяйственной челяди.

— Мало ли что вы там мерили, — отвечал второй, суше и увереннее, с интонацией человека, привыкшего, что последнее слово в разговоре остаётся за ним. — Может, два воза на кухню сразу пошли, минуя двор, дело обычное. Не будем же мы из-за пары поленьев дознание разводить.

— Так поленища-то не сходится что при кухне, что при дворе, я вам об этом и толкую третий день, а меня всё отмахивают, — не сдавался первый, понижая голос ещё сильнее, будто спохватившись, что говорит слишком громко в присутствии не тех ушей.

— Вот и продолжайте толковать эконому, а не мне, — отрезал Николай Иванович тоном, не оставлявшим сомнений, что разговор для него окончен. — У меня дел поважнее вашей поленицы.

Я почувствовал, как что-то во мне — та самая часть, что вчера вечером мгновенно и бесполезно посчитала стоимость лишних свечей, — встрепенулась и потянулась к разговору с

почти физическим нетерпением: два воза, минуя двор, без записи в книге прихода — это ведь ровно та формулировка, за которой обычно прячется либо небрежность, либо кое-что похуже, и разобраться, что именно, — дело десяти минут при наличии самой обычной амбарной книги и получаса свободного времени. Рука сама собой чуть замедлила шаг, будто собираясь остановиться и вмешаться в разговор двух взрослых мужчин так, как останавливаются и вмешиваются, когда чувствуют себя вправе задать неудобный вопрос.

Я одёрнул себя — в буквальном смысле, чуть ли не силой заставив ноги продолжить шаг в прежнем темпе. Не время. Не место. И, если совсем честно, не моё, ни в каком из возможных смыслов этого слова: ни как ревизора без мандата, ни как десятилетнего мальчика, которому сегодня простительно решительно всё, кроме, пожалуй, попытки учинить дознание по поводу дровяного двора в присутствии собственного гувернёра. Мысль о том, что часть меня, оглушённая, перепуганная, лишённая памяти о вчерашнем дне, при этом с абсолютной, почти оскорбительной невозмутимостью продолжает считать чужие дрова, показалась мне на секунду настолько нелепой, что я едва не рассмеялся вслух — и тут же испугался этого смеха сильнее, чем самого разговора о дровах, потому что не был уверен, что смог бы объяснить его причину хоть одной живой душе в этом доме.

Ужин прошёл смазанно, урывками, как проходит всё, за чем не удаётся уследить целиком: длинный стол, слишком высокий стул, из-за которого приходилось либо сутулиться, либо сидеть, вытянувшись в струну, серебряная ложка, оказавшаяся заметно тяжелее, чем можно было ожидать от такого небольшого предмета, и рука, которая от этой тяжести пару раз предательски дрогнула, расплескав немного супа мимо тарелки, — на что Марфа Кузьминична, оказавшаяся тут же, за спиной, только молча промокнула скатерть салфеткой, будто подобная неловкость была для её подопечного самым обычным делом. Константин через стол что-то весело рассказывал гувернантке про шашки, дважды позвал меня в свидетели собственной вчерашней победы, и оба раза я кивал наугад, не вполне понимая, что именно подтверждаю, — благо, брату, кажется, было вполне достаточно самого факта кивка.

Когда всё наконец закончилось — служба, ужин, положенные пожелания доброй ночи, — и меня привели обратно в ту самую комнату, где несколько часов назад застёгивали не в том порядке пуговицы, каждое следующее действие стало происходить медленнее и тише, будто дом сам, без всякой команды, сбавлял обороты вместе с гаснущими один за другим огнями. Марфа Кузьминична расстегнула те же пуговицы в обратном порядке — на этот раз, кажется, правильном, хотя проверить это было уже некому, — уложила меня, поправила одеяло, пожелала спокойной ночи святым на образе и ушла, унеся с собой свечу и оставив в комнате только слабый, рыжий отсвет лампадки.

Прокофий Ильич задержался у двери на минуту дольше положенного, будто хотел что-то сказать, но передумал и вместо слов просто буркнул что-то вроде «спите, батюшка, завтра день длинный» — и вышел, тихо притворив за собой дверь.

И вот тогда, оставшись один в темноте, в чужой узкой кровати, под чужим тяжёлым одеялом, я наконец перестал держать лицо.

Это случилось не сразу и не бурно — не рыдания, не крик, ничего из того, что можно было бы описать словом, годным для отчёта. Просто где-то в груди, там, где весь вечер помещалась только собранность, вдруг открылось что-то вроде трещины, и в эту трещину хлынуло всё сразу: и то, что я не помню вчерашнего дня, и то, что не помню собственного имени, и то, что весь этот огромный, чужой, полный незнакомых людей дом ждёт от меня, что я буду вести себя так, будто ничего не случилось, потому что иначе — что? Я не знал, что иначе, и именно это незнание оказалось страшнее всего остального.

Я подтянул колени к груди — маленькие, детские колени, торчащие из-под одеяла нелепо и незащитно, — и позволил себе, впервые за весь этот бесконечный вечер, всхлипнуть один раз, коротко, без свидетелей, так, как плачут дети, которым ещё не объяснили, что взрослые в

таких случаях предпочитают молчать. Слезы были самые настоящие, горячие, и от них ничуть не становилось легче — но и мешать они, кажется, тоже никому не мешали, кроме меня самого, а я, впервые за вечер, решил, что имею полное право хотя бы на эти несколько минут в темноте побыть тем, кем сейчас на самом деле был: перепуганным ребёнком, не понимающим, что происходит, и не знающим, у кого спросить.

Заснул я не помню как — где-то между одним всхлипом и следующим, так и не додумав до конца ни одной из тех мыслей, что весь вечер ворочались в голове огромными, неповоротливыми глыбами. Последнее, что я помню отчётливо, — это не мысль даже, а что-то вроде короткой, почти детской просьбы, обращённой в темноту без всякого адресата: пусть завтра, когда я открою глаза, всё окажется просто дурным сном, тем самым, о котором так удачно спросила Екатерина. А если нет — то пусть хотя бы будет чуть понятнее, чем сегодня.

Ни того, ни другого мне, разумеется, никто не обещал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.